

Осенью прошлого года исполнилось 150 лет со дня рождения А. М. Опекушина.

Взбудораженная историческая память часто заставляет нас в последние годы перебирать, сравнивать, включать или изымать из святцев отечественной культуры самые разные имена. Не забудем, что есть такие, без которых немислимо само понятие истории русского искусства. Однако остановите каждого третьего на Пушкинской площади в Москве — молодого или пожилого, не важно — и спросите имя ваятеля, создавшего Памятник поэту. К сожалению, точно ответят не все. Прошлой осенью я занималась подобным опросом.

— Вы не можете напомнить мне имя автора Памятника? — говорю женщине, нервно следящей за стрелками часов на Пушкинской площади.

Она улыбается, переводит дух. Словно ей стало легче оттого, что можно произнести: «Александр Опекушин».

28 ноября прошлого года исполнилось полтора века с того дня, как в Ярославской деревне Свечкино, над Волгой, в семье крепостного помещика Ольхиной, зимою — лепщика, а летом — пахаря, Михайлы Опекушина появился на свет сын Александр. Точная эта дата известна на родине великого художника сравнительно недавно: в редких изданиях пятидесятых и шестидесятых сообщалось о 1841 годе, и даже книжечка «Московского рабочего» из серии «Биография Московского памятника», изданная пять лет назад, неточно называет день опекушинского рождения.

Какая, скажете вы, разница? Огромная. Необходимо, чтобы человеческие множества в одно и то же юбилейное время вспоминали одно и то же прекрасное имя, жизнь, личность. Обращались к эталону. К той красоте, которая (мы, вслед за Достоевским, уверены!), несомненно, спасет мир. Экологи культуры справедливо говорят, что одновременные мысли и чувства тысяч людей о великом и вечном очищают «воздух» интеллектуального бытия, как летний дождь.

Итак, Свечкино под Ярославлем. Ранняя зима. В избе зажжена лучина и скрипит деревянная люлька. Говорят, чем талантливее человек, тем глубже, тем раньше работает его память. Во всяком случае, лесной берег и волжский ветер, могучее белое пространство, где издаലെ видно черную фигуру шагающего человека, оживут в Памятнике поэту, созданном впоследствии Александром Опекушиным. А любимая игра и самая легкая из множества работ его дедов — резьба по дереву и лепка из глины — станут самою жизнью ваятеля.

Малую родину свою Александр Михайлович Опекушин не забывал. Примечательно: к открытию Памятника скульптор заказал особую холстину... которая должна была до времени запеленать монумент. Заказал в Даниловском уезде под Ярославлем из лучших тамошних льнов, легкую и красивую, словно парус. Ткачей, а ткали холстину мужчины, нашел он сам, провёл вместе с ними несколько дней и читал им вслух «Моцарта и Сальери». Эта пушкинская вещь была его любимейшей потому, быть может, что многих, многих сальери разгневал своим даром этот самоучка, этот крестьянский Моцарт.

Впрочем, слово «самоучка» употребила я сейчас лишь в единственном смысле: самоотдачи, неустанной над собой работы, самосовершенствования дара, вложенного Аполлоном в деревянную люльку младенца. А учителя у Опекушина, отправившегося еще в детстве вместе с отцом на заработки в Петербург, конечно, были. Хорошие учителя. Датский ваятель Иенсен, принадлежавший классической школе Бертеля Торвальдсена; русские скульпторы Пименов и Микешин. Пименов? — спросите вы. Да, тот самый Пименов, к которому обращено пушкинское «На статуи играющего в бабки».

Мастерская Иенсена возле Карпова моста, где маленький лепщик постигал основы ремесла, дышала и жила пушкинскими

Александра ПИСТУНОВА

Вековечный Памятник

стихами. Подмастерья твердо знали никакими метрами не обозначенное в ту пору место дуэли — неподалеку от Карповки, на Черной речке. Ходили туда и в зимние январские дни, и в весенние майские — рождение любимого поэта приходилось по старому календарю на последнюю декаду мая. Говорят, что молодым ваятелям из учеников Иенсена и Пименова и пришла впервые в голову идея обозначить место дуэли небольшим камнем без надписи, сколом черно-серебряного гранита лабрадора. Было ли это в присутствии Опекушина, мы, конечно, не ведаем. Но, разумеется, уверены, что будущий автор Памятника знал то место, видел тот камушек, зараставший летом высокими травами.

Статного красавца Сашу Опекушина прозвали в мастерской Иенсена Русланом, и чудесное это имя вызывало у него горькую улыбку: «Может ли быть на свете крепостной Руслан?» Впрочем, двадцати одного года Опекушин выкупился на волю. Сам накопил медных грошей. А следом он получил в Академии художеств звание «свободного художника». Уже став «классным художником», Александр Михайлович обожал подписываться в письмах «Свободный Художник».

Не о свободе творчества — о свободе быть человеком решался вопрос в этой судьбе. Вот, быть может, отчего проблемы художественной свободы для Опекушина не было: свободен значило свободен, как птица и ветер. Свободен, как Пушкин.

Опекушин прожил долгую жизнь: застал Октябрь, был в числе хранимых Луначарским человеческих сокровищ. Умер в 1923 году на Ярославщине. Красавцем был он и в глубокой старости. С. Т. Коненков, встречавший Опекушина, сказал мне однажды, что хотел бы походить на Александра Михайловича, когда задумывал «Автопортрет»... Но, разумеется, не «хотел бы», а походил в самом деле: тонколицые рыцарственные русичи, эти люди были братьями — старшим и младшим. Раздобудьте снимки Опекушина, относящиеся к тому восемнадцатому году, когда Коненков ставил на Красной площади своего «Разина с ватагой», посмотрите повнимательнее и увидите Сергея Тимофеевича Коненкова его последних — таких недавних! — лет, жившего в угловом доме Тверского бульвара на Пушкинской площади, где теперь мемориальная доска с «Автопортретом», можно сказать — общим изображением обоих великих ваятелей.

Нечего удивляться, что большинство русских скульпторов — крестьянского рода. Художество — вещь серьезная, но начинается, как всякое искусство, от игры. А веселый наш народ издавна лепил из глины, резал из дерева, тесал из камня, а потом из металла лил свои игрушки. Немалое нужно было мужество, чтобы в старые глухие и голодные времена так пламенно радоваться игрушке. Из ярославцев — знаменитейших резчиков по дереву, украшавших свои гордые бедные хоромы берегинями-русалками, солдцами, цветами, зверями, — вышло не одно поколение петербургских и московских лепщиков. К этому же потомственному ремеслу готовил Александра Опекушина его отпущенный на оброк отец. Застенчиво входил в искусство окаяющий мальчик. Но — какое счастье для России! — был замечен, ободрен, получил разрешение посещать академический класс. Так становился он виртуозом в старинном значении латинского

корня. Virtus — это мужество, отвага, храбрость.

Опекушина принято считать «автором одного произведения» — Памятника, который стоит в Петербурге Лермонтов, в Новгороде в микешинском монументе «Тысячелетие России» есть его Петр I, в Ленинграде — еще один Пушкин. Верно, конечно: можно ли эти прекрасные произведения сравнить с Памятником? Но ведь и вообще, что же другое, кроме «Медного всадника» Фальконе, с ним сравнимое в русской скульптуре? Да и то единственное сравнение не нужно. Фальконе всегда говорит с человеческой массой, а если останешься с его Петром один на один, то тут же обратишься в «бедного Евгения». Опекушин же беседует с тобою или со всеми вместе одинаково интимно и одинаково публично. Вот отчего его Памятник, перенесенный почти 40 лет назад с торца Тверского бульвара в сквер напротив, разбитый на месте Страстного монастыря, внезапно открывшийся широчайшему пространству, далекому обзору, не потерял ни одного из своих достоинств. Камерный, задумчивый, он в то же время ясно, твердо и вечно «прославляет свободу», он — исповедь и проповедь одновременно.

Люди — ах, какие же замечательные! — писавшие про Памятник, делятся в суждениях о нем на две группы: одни утверждают, что опекушинский Пушкин движется, другие — что он стоит. Обожают всех, кто хоть что-нибудь сказал о монументе (среди них — Маяковский, Цветаева, Есенин, Платонов, Булгаков), я склоняюсь к мнению, что он все-таки стоит. В углубленном размышлении, в позе, дающей забвение его телу, принимая поток любуемого дневного света, подставляя кудрявую голову ветру, снегу, дождям, полуденному, взошедшему прямо над ним солнцу. Кипучий, он кажется спокойным, здесь то самое пушкинское «хладнокровие горячности», повелительность ничего не приказывающей власти. Издали его силуэт кажется нарисованным черным на золотом солнечном фоне, а вблизи, особенно в темноте, он может иной раз сверкнуть на тебя золотым глазом. Он обтекаем и во всем соответствует утверждению Микеланджело, говорившего: «Хороша та скульптура, которую можно скатить с горы и она не разобьется».

Опекушин выполнил этот труднейший, подобный требованиям, предъявляемым поэзии Пушкиным, постулат Микеланджело. А кто еще в целом мире осуществил его? Перечтешь на пальцах одной руки. Прекрасный советский ваятель Иван Семенович Ефимов однажды заметил: «Я два типа работы знаю: европейский — копировать модель, вероисповедание глупое. Восточный тип работы: изображать течение жизни... В скульптуре из бронзы должен чувствоваться металл, расплавленный, текущий, застывший не в насильно навязанной форме, а в свойственной эзотоме, горячему, тяжелому металлу». (Заметим, словарь Ивана Семеновича: тяжело-звонкий, пушкинский...)

Вот в этой свободе бронзы и есть, по моему, «нерукотворность» Памятника, о которой писал Поэт. Мы знаем, видим на дагерротипах и снимках лицо автора — Александра Михайловича Опекушина. Но монумент кажется сложением людскими множествами, словно народная эпическая песнь: всякое поколение — а их за целый век было немало, и каких! — вносило в эту песнь свое. Вносит и наше, столь пламенно его любящее.

Опекушинский Пушкин был первым в России Памятником поэту: не царю, не легендарному герою, не полководцу — частному, как тогда говорили, лицу. Все знают, что деньги на него собирали по подписке, медяками. Тратили их строго. Ни гроша лишку не запросил ни один рабочий. Подрядчик Баринев, и тот совестливо пользовал средства. Ломовые, перевозившие гранитный цоколь на Страстную площадь, и те знали, что именно и для кого везут. Пушкин жил в этих возчиках, в гранитниках, в отливщиках, в кузнецах, ковавших цепи ограды, в электромонтерах (новая профессия России), установивших около Памятника восемь «яблочковских» фонарей. «Как, братцы, чисто работаете! — сказал садовникам, развешивающим гири, ланды зелени к празднику, бакалейщик Елисеев. — Не пойдете ли ко мне украшать витрины?» «Так для тебя-то, ваше степенство, мы хуже работать станем!» — ответили ему.

Победивший в демократическом соревновании сорокадвулетний ваятель, составивший с такими прославленными своими коллегами, как, скажем, Пименов, или автор эрмитажных атлантов Тербенев, или молодой Антокольский, работал в дни установления Памятника столь же истово и незаметно, как другие. Но в его сердце бушевала буря, о которой он вспоминал уже в советское время, перед самой своей кончиной:

«Около десятка альбомов пришлось заполнить изображениями Пушкина во всех его возрастах и видах, сделать больше тридцати проектов памятника из глины и пластилина... Были три лихорадочных конкурса. В двух из них участвовали все скульпторы того времени. Ах, какая жара была! Ах, какая суматоха!.. Каждый хотел быть ваятелем, по выражению Белинского, «вековечного памятника»... В третьем конкурсе... мой проект получил первую премию. После чего я получил заказ на изготовление статуи поэта. Радость, конечно, для меня. Но она как-то внезапно была оборвана резким изменением ко мне Академии Художеств. Я думаю, что тут большую роль сыграла газета «Голос», напечатавшая статью, содержание которой сводилось к тому: «чему учит Академия Художеств? — когда на пушкинских конкурсах всех академиков «заткнул за пояс» какой-то крестьянин Опекушин...» Дня через три ректор Академии г-н Иордан вызывает меня и говорит: «Потрудитесь очистить в трехдневный срок академическую мастерскую... вы получили заказ на Пушкина...»

Зависть, месть была...»

Нелегко переносить эти обращения к себе чувства даже сильному человеку, даже носителю великого дара. Опекушиным восхищались Достоевский и Тургенев, Глеб Успенский и братья Третьяковы, Иван Аксаков и Николай Рубинштейн. Открытие Памятника зарисовал Николай Чехов, которого Опекушин считал восходящей звездой русского искусства. А зависть и месть прочно окопавшихся на Парнасе карликов шла за Александром Михайловичем по пятам и мучила его душу даже накануне ухода из жизни.

Может, потому осталось от него столь немного? Давалим к опекушинскому списку еще две пушкинские работы: памятник в Кишиневе и фигуру в парке Осташева... Но, может быть, не одни только мелкие чувства «профессионалов» причина краткости творческого *vita* Александра Опекушина? Все, что в нем было, вложил ваятель в главное свое творение, явившееся народу, едва перешагнувшему николаевщину. Творение явилось в дни, о которых сказано Николаем Языковым:

Но слава времени, когда

И мирный гражданин,

подвижник незабвенный

На поле книжного труда,

Венчанный славой, и гордый воеводи,

Герой, счастливый на войне,

Стоят торжественно

перед лицом народа,

Уже на равной высоте!..

Проводя свой опрос около Памятника, я больше всего радовалась тому, что сияющее имя ваятеля знают дети, школьники. И не только московские. Сюда ведь возят все экскурсии. Встретила я тут и ленинградцев — маленьких художников из студии василеостровского Дворца пионеров.

— А у нас на площади Искусств чей стоит памятник Александру Сергеевичу? — спросила своих ребят девушка-учительница.

— Михаила Аникушина, — ответил басом десятилетний рыжик с синими глазами. И добавил: — Но у нас Пушкин веселый и молодой, а здесь строгий и печальный.

— Здесь — вечный, — объяснила учительница. — Белинский сказал: «вековечный».

Слушали их диалог спешащие по делам и отдыхающие у фонтана взрослые люди, и, верно, им, как и мне, казалось, что мир прекрасен.

